

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

О. Иваненко

Бесконечно больно и грустно писать об Антоне Семёновиче — умершем. Вспоминать Антона Семёновича — это вспоминать колонию имени Горького, самые радостные, восторженные мои годы. На всю жизнь осталась у меня благодарность к А.С. Макаренко за то, что эти годы наполнены были захватывающей работой, что росла я под руководством такого талантливого, требовательного, большого моего друга.

Было мне восемнадцать лет, я училась на втором курсе Харьковского института народного образования, работала в дошкольном детском доме. Вдруг я решила на летние каникулы поехать в колонию имени Горького. Колония помещалась тогда ещё в первой своей резиденции — на моей родине под Полтавой, в бывшей усадьбе колонии «малолетних преступников».

Родные и знакомые пришли в ужас. Какие только слухи ни ходили о колонии, о Макаренко! Говорили, что это чуть ли не старая казарма, аракчеевское поселение, где Макаренко не расстанется с револьвером, чтобы держать воспитанников в повиновении, и его «методы» воспитания ничего общего не имеют с педагогикой. Меня поддерживала только мама — тоже учительница. Она была немного знакома с Антоном Семёновичем ещё по работе в школе. Хотя она и говорила, что Макаренко педагог особенный и что действительно у него не так, как везде, и что он очень строгий, требовательный,

и работать у него надо серьёзно, и лучше бы я отдохнула дома, но всё-таки сама передала ему о моём желании.

Я до сих пор помню, с каким волнением шла я в Наркомпрос, где должна была встретиться с Антоном Семёновичем. В уме я готовила целое изложение своего педагогического кредо, моих воззрений на воспитание «трудных» детей, и почему мне хочется поехать на практику именно в колонию Горького. (Честное слово, мне самой это было неизвестно, на практику нас никто ещё не посылал, но даже то, что это колония имени Максима Горького, привлекло меня.)

Я сидела в коридоре, очень волновалась и уже немножко малодушно хотела, чтобы наше свидание не состоялось. Но никаких педагогических разговоров вести мне не пришлось. Дверь открылась, и вошёл Макаренко — как всегда, подтянутый, с военной выправкой, во френче, — внимательно посмотрел на меня сквозь очки.

— Вы дочка Лидии Николаевны? Хотите к нам в колонию? — спросил он, поздоровавшись. — А в спектаклях будете участвовать? Выступали когда-нибудь?

— Выступала, — смущённо пролепетала я и вдруг, испугавшись, что он меня не возьмёт, быстро добавила: — Я очень люблю играть, я часто на вечерах выступала.

— Вот и хорошо! — улыбнулся Антон Семёнович. — Мы новый спектакль

готовим, а актрис не хватает. А сейчас у нас жнива — снопы вязать умеете?

— Нет, — честно призналась я.

— Ну ничего, научим. Так когда за вами лошадей прислать?

— Завтра утром! — храбро ответила я.

Мне так и не пришлось за всё лето вспомнить ни лекций по педагогике, ни схем обследования «трудновоспитуемых», ни тестов и анкет, которыми снабдили меня преподаватели института. В колонии вообще не слышно было слов «педагогично», «непедагогично», об этом как будто никто и не думал, но в том-то и заключается всё великое искусство талантливого педагога, что всё до мелочей было продумано и учтено.

— У нас педагогика здравого смысла — это настоящая, новая, советская педагогика, — говорил Антон Семёнович.

Мы были все заняты жнивами, молотью, по вечерам разучивали «Бунт машин» А. Толстого, и весь тон колонии, жизнерадостный, бодрый, был так не похож на серые будни детдомов и коллекторов с обязательными бесцельными «трудпроцессами», характеристиками, тестами, со скучающими ребятами, не знающими, куда приткнуться себя, чем заняться, и удирающими при первом удобном случае.

Мало кто не знаком сейчас с «Педагогической поэмой» Антона Семёновича и мало кто не восхищается теперь его методами. Но какую тогда пришлось выдержать ему борьбу с чиновниками от педагогики, с сердобольными сощвосовскими дамами, как трудно было отстаивать ему своё большое, настоящее дело! Конечно, и у нас были в педагогическом мире друзья, которые поддерживали Антона Семёновича, но вначале их было очень мало, и сами они шли не по проторенным дорожкам.

После множества детских домов, где мне приходилось бывать, мне казалось, что я попала в какой-то замечательный оазис, «на Марс», шутя говорил Антон Семёнович. Вначале я побаивалась его, исключительно требовательного к себе и другим, но в своих требованиях всегда чёткого, точного. Я видела, что вся моя педагогическая подготовка, все теории перевоспитания, психоанализы, педология — всё это тут ни к чему. Немного мне было страшно и того, как я «справляюсь» с воспитанниками (между ними, кстати сказать, были и мои ровесники, и старше меня). Но недаром на одном съезде педагогов Антон Семёнович на вопрос: «Как же воспитываете вы?» — ответил: «Воспитывают все триста пятьдесят колонистов».

В первые же дни мой страх прошёл: так чётко, налажено лилась жизнь колонии, что при моём искреннем желании влиться в эту жизнь я сразу почувствовала себя на твёрдой почве. Как будто никаких особых требований не предъявлял Антон Семёнович воспитателям. Точно исполняйте свои главные и рабочие дежурства — и всё. Многие даже упрекали Антона Семёновича, что он подавляет инициативу воспитателей, ищет «чиновников», исполняющих бесприказно его волю. Но это была грубая ошибка. Он, правда, терпеть не мог краснобаев, болтунов (так же, как и среди колонистов), но ценил и берёг энергичных, инициативных, преданных делу работников. Недаром он сумел организовать такой крепкий коллектив. Правда, трудно было угнаться за его творческим размахом, наряду с ним всё бледнело, он был главным вдохновителем и организатором, но вся жизнь колонии была организована так, что все — и воспитатели, и самые младшие воспитанники, и сапожник, и портниха, и старик конюх — чувствовали на себе ответственность за большое общее дело.

Главное, что почувствовала я с первых дней, это любовь к работе у всех, то особенное отношение к работе, как к делу

чести и геройства, которым отмечается наше социалистическое отношение к труду, стахановское движение, ударничество. Для нас всех было честью и гордостью работать в 4-м свободном отряде, попасть в отряд вязальщиц на празднике первого снопа; я была счастлива, как никогда, когда на молотье меня поставили «на столик» — подавать снопы — и сам Антон Семёнович меня похвалил.

Работа невероятно сближала всех, и после первых рабочих дежурств я почувствовала себя дома, и началась моя большая дружба и с Макаренко и с колонистами, причём, несомненно, одно зависело от другого. Антон Семёнович подчёркивал, что его радуют всегда простые дружеские отношения между воспитателями и воспитанниками, но ни в коем случае не переходящие в фамильярность.

Я помню, вечером, уже после сигнала спать, я, старшие хлопцы, которые готовились в том году поступить на рабфак, — первые наши студенты, оставались часто в крошечном, но уютном кабинетике Антона Семёновича, и начались бесконечные разговоры о книгах, театре, о колонии. С Антоном Семёновичем колонисты, и хлопцы и девчата, делились всем — он знал всё, что с кем происходит.

Чем дольше я жила в колонии, тем больше меня поражал и восхищал его педагогический талант. На вечернем собрании после рапортов Антон Семёнович часто выступал с речью, разбирая какой-нибудь эксцесс, происшедший днём и отмеченный в рапорте командира или дежурного по колонии. Мне всегда жаль было, что его речи на этих вечерних собраниях нельзя было застенографировать. Ничего общего не имели его выступления с нотациями или выговорами. Казалось, он говорил не с ребятами, а с сознательными взрослыми гражданами, ответственными за свои поступки. Он не боялся делать глубокие обобщения, исторические сравнения, и его слушали всегда как завороженные. Его авторитет был непоколебим, и в то же время как просто, непринуждённо чувствовали себя с ним все хлопцы. И как верили ему во всём — ведь Антон Семёнович сделал их жизнь такой увлекательной, интересной; каждый малыш имел чувство собственного достоинства, с гордостью носил звание колониста.

(...) Колония так увлекала, что осенью мне было очень грустно разлучаться с ней, к тому же Антон Семёнович очень уговаривал остаться на постоянную работу. Всё же мне очень хотелось учиться. И я уехала, дав слово приехать на будущее лето. Со мной уехали на экзамен и наши первые студенты, и я дала Антону Семёновичу слово поддерживать с ними дружбу, помогать им.

Всю зиму мы переписывались. Антон Семёнович сообщал последние колонийские новости, я расписывала, как в институте делала доклады о колонии Горького, и что все «не понимающие нас» — мои личные враги, а сочувствующие — друзья по гроб жизни, и что на будущее лето я привезу ещё свою подругу. На другое лето колония переехала во вторую свою резиденцию — бывшее имение помещиков Трепке. Ещё я помнила руины, но теперь там всё утопало в цветах, главный дом был прекрасно отремонтирован. С какой гордостью показывал мне Антон Семёнович и хлопцы помещения, свинарни и, главное, на месте конюшни — театр!

Я приехала с моей подругой Ривой. Хлопцев и девчат было в два раза больше, прибавилось и много новых воспитателей, преимущественно молодёжи. Приехали на каникулы студенты. Все мы, конечно, всё свободное время крутились вокруг Антона Семёновича, и он был очень доволен, что мы внесли столько оживления, литературных споров, стихов, шума и веселья...

Конечно, было не без романов. Антон Семёнович был в курсе всего и говорил:

— Пожалуйста, влюбляйтесь, романы, но только в колонии! Только между собой! Тогда вы все будете ещё больше любить колонию!

Он был страшно доволен, когда, не без его участия, поженились две пары, и, особенно, что он провёл это приказом.

Так же был он страшно доволен, когда женились его воспитанники.

Я теперь вспоминаю, как он подбирал воспитателей — прямо как хороший дирижёр управлял оркестром.

— Мне нужны разные, — смеялся он, — я люблю наблюдать ваши дежурства: вот держит наша старая гвардия, например Л.П. — она пылинки не пропустит и слова не спустит: всё подтягивается и приводится в порядок — вожжи натянуты. Дежурит Оксана, Рива, Ляля, Алексей — вожжи понемногу ослабевают, но какое хорошее настроение, смех, шум! Ничего, что немного вожжи отпускаются! Это тоже нужно. И ваши студенческие споры, и стихи — всё это нужно, только надо всё это чередовать, — добавлял он, улыбаясь.

В то лето мы особенно ощущали расцвет и рост колонии, и то лето было каким-то особенно радостным. Организовали комсомольскую ячейку, получили первое письмо от Алексея Максимовича Горького. Я ещё больше подружилась с Антоном Семёновичем. Хотя мы без конца с ним спорили и он всегда меня поддразнивал моим увлечением рефлексологией, но всё-таки я очень гордилась, что со мной и с Ривой он вдруг затеял провести тайно от всех одно «научное» наблюдение. Мы решили изучать объективно «тон» колонии по звукам и движениям! Антон Семёнович разработал целую схему, и в один определённый час мы садились и записывали все звуки. Ничего у нас не вышло. Но не объективно, а субъективно мы были очень довольны. А тон колонии был ясен без наблюдений.

Я помню, как-то с Антоном Семёновичем мы шли по парку. Только что прошёл летний тёплый дождь. Около главного здания, где проходил летний ремонт, на площадке строили «курени», чтобы переехать туда на лето. Все были захвачены работой, с реки тянули очерет, один отряд старался перешагивать другой.

— Люблю, когда строят, — сказал Антон Семёнович, — мы всегда должны строить, сооружать — ни минуты застоя. Это настоящая жизнь, и это должно быть главным!..

Это лето Антон Семёнович часто делился с нами своими мечтами о расширении колонии — на тысячу человек:

— Колония всегда должна расти, ставить какие-то большие хозяйственные цели, быть всегда на дрожжах, — а тут нам расти некуда. Нам надо всегда мечтать и приводить мечты в действительность!

Мечтать — этому он учил и колонистов. Мечтали и мы все, и, конечно, мы обещали после окончания института — нам оставался последний курс — вернуться в колонию.

Зимой у нас была самая тесная связь с колонией. Антон Семёнович часто приезжал в Харьков, где училась я, Рива и старшие хлопцы. Каждый его приезд, конечно, был для нас праздником.

— Ну, девчата, сегодня веду вас в театр!

В институте по нашим сияющим физиономиям уже угадывали и говорили:

— Оксанин и Ривин батько приехал.

Теперь уже вдвоём с Ривой мы старались «научно-рефлексологически обосновать теорию колонии Горького». Вспоминная «мечты» Антона Семёновича и колонистов, мы вспоминали павловский «рефлекс цели» и с ещё большим рвением отстаивали на наших семинарах систему Макаренко. Ту зиму мы жили жизнью колонии, так как Антон Семёнович все-таки задумал переехать на новое место. Сначала говорили о Хортице, но каково же было наше разочарование, когда после одного заседания он сообщил нам, что переедут в Куряж под Харьковом. Куряж мы хорошо знали.

— Как! Антон Семёнович, из нашего рая, с нашего Марса, от Коломака. От сосен в эту помойную яму?

Мы чуть не плакали. Хлопцы-студенты, наоборот, были довольны. У Семёна Калабалина уже загорелись глаза — он уже предвидел широкое поле деятельности. Коля Шершнёв тоже поддерживал. Конечно, им улыбалось всегда быть близко от колонии.

— А какие у нас будут мастерские, какая школа, какой огород! А как мы пройдемся по Харькову Первого мая! — расписывал нам Антон Семёнович. — И вы же с Ривой поедете работать? Я не представляю молотьбы без вашего визга!

— Конечно, поедем, — уныло говорили мы, — но наша вторая колония, и парк, и лес... — стонали мы.

Кураж действительно был помойной ямой (...). Но через год Кураж был неузнаваем. Где только бралась у Антона Семёновича эта энергия, эта сила заражать всех окружающих одним желанием и вести за собой большой коллектив! Он ни на минуту не успокаивался, всегда стремился ещё к чему-то лучшему, большему, более совершенному, он вникал и учитывал все мелочи колонийского быта, теперь уже такого сложного и многогранного. Жизнь изменилась. Колонию «признали», у нас без конца бывали гости, делегации, экскурсии, которые восхищались колонией и, по правде, немного мешали работать. Колонию уже нельзя было сравнивать с той маленькой колонией на сто человек в сосновом лесу, когда для того, чтобы пошить новые костюмы, надо было ту же «підтягти очкури».

О! Теперь уже на Первое мая девочкам и мальчикам душили платочки одеколоном и была введена колонийская форма, и, правда, когда мы проходили по Харькову, все любова-

лись стройными рядами горьковцев. Но Антон Семёнович уже думал о большем — в его ведении были все колонии Харьковского округа, и он начинал строить коммуны Дзержинского.

Меня Антон Семёнович перевёл работать в Управление колониями. Риву — в коммуну Дзержинского. Но один большой колонийский праздник мы праздновали, конечно, в нашей колонии — приезд Алексея Максимовича Горького.

Рано утром выстроился небольшой отряд горьковцев с Антоном Семёновичем на вокзале. Я была с ними и никогда не забуду этой минуты. Медленно подошёл поезд. В окне я увидела высокую фигуру Горького. Он выглянул в окно.

— Антон Семёнович Макаренко здесь? — был его первый вопрос.

Как-то мальчишески живо Антон Семёнович подбежал к окну и протянул руку.

Это была настоящая большая награда за весь тот большой, неоценённый труд, за бессонные ночи, за борьбу с рутинной и формализмом.

Через несколько лет вышла «Педагогическая поэма», и сколько педагогов, отцов, матерей, не отрываясь, прочитали её по нескольку раз и задумывались над воспитанием своих детей, и как больно, грустно, что сейчас, когда вопросы школы, воспитания детей стоят особенно в центре внимания, нет этого талантливого друга молодёжи, который всю жизнь отдал трудному, но благородному делу. **В.Ш**